

Скачки — 4 / повесть

Category: Kitapcy, Powestler

написано kitapcy | 22 января, 2025

Скачки — 4 / повесть

Часть вторая

ЛЕТО

Вот уже неделю Сары-сейис болел. Прежде случалось то кости ломит, то скрутит в пояснице, но раньше никогда ему не было так худо, как сейчас. Казалось, кто-то горсть раскаленных углей сыпанул ему в грудь; когда их жар разгорался, Сары-ага корчился от нестерпимой боли, скрежетал редкими зубами, пополам сгибало его, но и когда боль слабела, он все равно ощущал внутри неприятное жжение, словно один маленький уголек прикипел к сердцу и все не гаснет. Стоило повернуться неловко, сделать резкое движение рукой, как безжалостная боль вновь растекалась по телу. Он как мог, скрывал свои страдания от близких. Не хотел, чтобы вместе с ним мучались жена, дети. На время трапезы Гюльрух-эдже обкладывала его подушками, он полусидел, полулежал, облокотясь на них, чтобы внуки не догадались о его немощи. Давалось это с трудом: лоб и тело покрывала испарина, вялым медленным движением руки он стирал липкий пот, но после этого минуту еще не мог отдышаться.

Сегодня, когда пили утренний чай, он заметил, что сыновья чем-то обеспокоены. Посторонний человек не увидел бы в их поведении ничего необычного, но Сары-ага сразу встревожило преувеличенное, показное оживание: братья, которые — он знал об этом — не слишком-то ладили меж собой и, бывало, за день лишь парой слов перекинутся, болтали о разной чепухе, пытаясь развлечь его. Но мысли их были далеко. «Что-то стряслось, и они не хотят мне об этом говорить, чтобы не расстроить. Неужели я так плох?...» — обиженно и с тревогой думал Сары-ага, видя, что дети боятся встретиться с ним взглядом. Эта мысль заставила его на миг забыть о боли в

сердце. Сары-ага негромко кашлянул, запустил пальцы в бороду. Гульрух-эдже сразу догадалась, что он хочет что-то сказать, собирается с мыслями. Она торопливо завернула хлеб в скатерть, отложила сверток в сторону. Села, положив руки на колени, всем своим видом показывая, что готова выполнить любое желание Сары-сейиса.

— Что-то здесь жарко, — наконец произнес он негромко, стараясь, чтоб дрогнувший голос случайно не выдал его слабости. — Постелили бы во дворе...

— Нязик приготовила вам место, отец, — ответила Гульрух-эдже, вставая.

Нарлы выплеснул под сундук только что налитый чай.

— Ступайте в нашу кибитку! — приказал он детям.

Когда двор опустел, Нарлы и Мулькаман бережно взяли отца под руки, вывели его из кибитки, придерживая, как маленького, довели до растеленной под шах-тутом кошмы. Только когда отец устроился, как ему было удобно, детям разрешили выйти.

— Сядь, Нарлы! — приказал Сары-ага. — Сын мой, ты хочешь что-то сказать? — произнес он торжественно. — Говори, мой слух обращен к тебе. Не надо ничего от меня скрывать. Ты не умеешь притворяться.

Нарлы опустил на край кошмы у его ног.

— Пора поливать пшеницу, отец.

— Да, пожалуй, пора, — согласился Сары-ага. Прежде он никогда, никому не доверял поливать поле. Мысль, что теперь эту работу будут делать без него, вконец расстроила Сары-сейиса. Он даже не попытался скрыть своего огорчения. —

Полей сам, сынок. Сначала пусти воду на тот участок, где повыше. Пока не польешь, ни на что не отвлекайся. Воды в этом году много, чуть зазеваешься весь наш достаток смоем...

На кошму прямо перед ним с глухим стуком упала зеленая ягода тутовника. Сары-ага положил ее в рот, пожевал. Ягода была недозрелой, кислой. Он поморщился, с трудом подавил позыв тошноты, но выплюнуть зелень не решился, испытывая неловкость перед сыновьями.

— Ступайте! — сказал он, опускаясь на подушки. Мульки сразу направился к затиши, к Шункару. Нарлы еще немного

помедлил, не решаясь сразу оставить отца одного.

В болезни Сары-сейиса больше всего огорчало то, что он как-то сразу оказался не у дел. Вот что его угнетало. Чуть отпускала боль, он пытался встать на ноги, но всякий раз его попытка заканчивалась неудачей. Раньше он любил свое тело. Оно было сильным, послушным его воле. И чаще всего он просто не замечал его. Теперь немощная плоть стала его обузой, сил с трудом доставало, чтобы нести ношу, которая день ото дня делалась все тяжелее. Но ум его был ясен. «Когда-нибудь этот груз попросту раздавит меня, — думал он. — Воннет в землю.» Он как мог сопротивлялся собственной беспомощности, требовал, чтобы сыновья подробно рассказывали о том, что происходит в селе. Но слушать было утомительно, внимание рассеивалось, всякий раз приходилось делать усилие, чтобы понять смысл слов. Он быстро уставал.

Наконец он решился учить Мулькамана своему ремеслу. Прежде, пока не подступила болезнь, он не видел в этом нужды. Теперь он подолгу говорил о повадках коней. Но и тут замечал, что делится своими знаниями неохотно, словно боясь, что окажется ненужным, когда Мульки узнает все его тайны. Учил он по-своему. Когда приходило время кормить Шункара, он указывал, что нужно дать коню. Мульки шел в затишь, и насыпал в деревянную плошку ячмень, возвращался. «Прибавь еще горсть», — говорил Сары-сейис. Иногда он просил подвести Шункара к его ложу. Придирчиво осматривал жеребца. «Хорошо, если наездник любит своего коня. А вот баловать сахаром не следует. Конь и без сахара понимает, кто его любит», — ворчливо замечал он и делал знак увести жеребца в затишь.

И сегодня Сары-сейис приказал показать ему Шункара. С земли конь казался необычайно высоким, пришлось закинуть голову, чтобы заглянуть Шункару в печальные темно-коричневые глаза. Под лоснящейся, отливавшей сталью шкурой, играли сильные мышцы. Старик хотел приласкать лошадь, протянул руку, но она бессильно задрожала. Шункар испуганно фыркнул, отпрянул в сторону. Это расстроило Сары-сейиса чуть ли не до слез.

— Не хочешь меня узнавать? — обиженно прошептал он. — Прогуляй его! — сказал он Мулькаману. Было неловко, что при

сыне выказал свое огорчение.

Мульки вывел коня со двора... Сары-сейис смотрел им вслед, точно прощался навсегда. Тоска сжала его сердце. Точно такую же тоску он испытывал всякий раз, когда к Дурды-баю приезжали покупатели. Иной раз то были иранские купцы, иногда англичане или русские. К этим людям Сары-сейис не имел обиды. У них было золото и уже одно то, что они тратили его на коней, заслуживало уважения. И в лошадях они знали толк — выбирали всегда самых лучших, хотя Дурды-бай и пытался хитрить. Сары-сейис умом понимал, что у этих людей его скакунам будет не хуже, чем у Дурды-бая, может, и лучше. Но и зная это, не мог примириться. Ему казалось, что у него отнимают часть жизни. Всякий раз ему хотелось пасть хозяину в ноги, просить Дурды-бая, чтобы тот отказался от своего намерения. Но он ни разу не позволил себе такого; кони были его, но в то же время не его, они принадлежали Дурды-баю и тот имел право распоряжаться ими, как захочет. Лишь однажды, когда хозяин решил разом продать всех своих коней, Сары-сейис попытался отговорить хозяина.

Дурды-бай не стал его слушать, велел идти прочь. Он тоже любил коней, ему тоже было жаль с ними расставаться. Но еще больше он любил себя, свою жизнь. Кони были лишь частью его жизни, и он пожертвовал ею, чтобы спасти остальное. Ему не оставалось выбора. Бай утешал себя тем, что кони, если он их сейчас не продаст, раньше или позже достанутся людям, для которых что конь, что овца, что корова — все едино. Они живут заботами одного дня. Когда-нибудь, чтобы не кормить лошадей зазря, они запрягут скакунов и, чего доброго, станут на них пахать. Лучше уж поубивать коней своими руками, чем допустить, чтобы они уподобились волам. Сейис не способен это понять. Для него кони — все. А разбираться в людях все-таки посложней, чем в лошадях.

Когда иранцы сбили табун и погнали его к горам, Сары-сейис долго шел следом. Лишь глубокой ночью он вернулся домой и несколько дней не выходил из своей кибитки, сказавшись больным. Но он не был тогда болен, просто на душе стало пусто.

Теперь он чувствовал себя таким же опустошенным. Он ясно

сознавал, что будущее не сулит ему ничего хорошего, и все чаще обращался мыслями к прошлому. Силы оставили его, нет у него и по-настоящему сильных желаний. Он сравнивал себя с сосудом, наполненным воспоминаниями, одними воспоминаниями. Пока не поздно, он старался выудить с глубины, с самого дна, те из них, что еще способны доставить ему радость.

Как ни странно, большее удовлетворение он испытывал, вспоминая события, которые прежде казались ему вполне заурядными. К нему возвращалось давно забытое детство. Может, только тогда он и был по-настоящему счастлив?

Он учился грамоте у муллы вместе со всеми своими ровесниками. В тени тутовника, что рос во дворе мечети, они учили азбуку, позже эбджет и эпдик¹. Вечерами он пересказывал услышанное отцу. Чтоб порадовать его, какую бы работу ни начинал, громко, нараспев произносил: «Алхамду лиллохи-оламин!»... Поможет ли аллах достойно завершить начатое дело?... И неужели тот мальчик — это он сам? Как трудно в это поверить. Мулла учил, что время способно изменить лишь внешний облик, а суть остается неизменной. Так ли это? Мечеть стоит до сих пор и с виду она ничуть не изменилась, но теперь в ней склад союза «Кошчи». Вместо книг и свитков — мешки с зерном, бороны, плуги. Когда Беркели распорядился снести в мечеть совместное имущество, многие ханарцы возмутились. Самые решительные сбили со склада замок, выставили на улицу мешки с зерном, привели муллу, который упирался, говорил, что святыня осквернена. И что же? Теперь в бывшей мечети — амбар.

Беркели с детства был его закадычным другом. Хотя они были одногодки, Сары-ага всегда почитал Беркели за старшего. Сильный, рослый Беркели, на каждом плече которого могло поместиться по мешку с зерном, в новые времена стал командиром отряда краснопалочников. В последний раз они виделись несколько лет назад, незадолго до гибели Беркели, как раз тогда, когда затеялось дело с мечетью. Беркели приходил к нему, чтобы объяснить, почему он принял такое необычное решение. Со всеми ханарцами вел он тогда, видя их недовольство, примирительные беседы. Беркели не сразу заговорил о деле, которое привело его в кибитку друга. Сначала

долго пили чай, говорили о скакунах.

— В давние времена, — рассказывал Беркели, — пророк Сулейман побывал в Хиве. Возле Хазариса, что на берегу Амударьи, он увидел табун прекрасных коней и был поражен их статью. Во что бы то ни стало он захотел иметь хоть одного такого жеребца в своей конюшне. Воины Сулеймана долго преследовали табун, устраивали засады, но безуспешно. Тогда Сулейман пришел к старейшинам Хазариса. Пообещал, что город получит привилегии, если его жители помогут

завладеть чудесными скакунами. «Есть в нашем городе два хитроумных брата, — ответили аксакалы, — им под силу исполнить твое желание, но они, услышав о твоём приближении, ушли в горы...»

Долго думал мудрый Сулейман, как ему заманить в город братьев, и наконец придумал. Его приближенные объявили, что их повелитель внезапно заболел и умер. Поверить в это было не трудно: снedaемый желанием завладеть прекрасными скакунами, пророк почернел лицом, исхудал. Когда весть о его смерти достигла скрывавшихся в горах братьев, они покинули свое убежище и вернулись в Хазарис. Тут их и схватили. Сулейман объявил, что простит их вину, если они поймут лошадей.

Братья не стали устраивать погони. Захватив с собой тысячу кувшинов с вином, они отправились к хаузу, к которому приходили на водопой кони. Они вычерпали из него воду и наполнили вином. Три дня кони терпели, но на четвертый, измученные жаждой, перебороли брезгливость и испили вина. Опьяневших их без труда изловили и привели к Сулейману. Властитель, пораженный их красотой, не заметил даже, что подошло время намаза. Раздасадованный тем, что пропустил час молитвы, он приказал убить коней. Его воины немедленно выполнили приказание. Лишь жеребец и кобыла остались живы из всего табуна, те, которых взяли себе братья. От них и пошли ахалтекинцы!

Вороной жеребец Беркели, спору нет, был потомком тех чудесных коней. Сильный, статный, необычайно умный он был бесконечно предан своему хозяину, не раз спасал его от погони, выносил с

поля боя. Но Беркели убили не в бою — в собственном доме, по-предательски, ночью. Не мудрено, что конь допустил убийцу. Ведь и сам Беркели ошибся в том человеке: принял предателя в отряд краснопалочников, сделал своим помощником... Когда люди хоронили Беркели, вороной вместе со всеми отправился на кладбище и не ушел оттуда, до сих пор бродит рядом с могилой хозяина. Счастлив тот, кому аллах дал такого коня!

Был ли счастлив Беркели? Он всегда хотел помочь людям, облегчить их жизнь. Однажды уговорил ханарцев прорыть два новых арыка вдобавок к тем двум, что издавна орошали поля водою Гямисув. Сколько сил положили на это люди! Беркели работал наравне со всеми, даже больше других. Какой праздник он устроил, когда работы были закончены! И что же... Вода по тем арыкам не течет, от них теперь одна помеха. Хотел, чтобы люди помнили о нем... Они его поминают, да только недобрым словом, когда приходится обходить заболоченные места!

Но разве Беркели виноват? Изменилась сама жизнь. Прежде люди дорожили тем, что имеют, боялись перемен, изо всех сил старались сохранить извечный порядок. Теперь точно какое наваждение на них нашло — хотят все сделать по-своему. Это — как болезнь, и она поразила Беркели одним из первых. Но разве его одного? Взяли и срубили дуплистый тутовник, что рос возле крепости. Слаще его ягод не было в Ханаре! Срубили, чтобы кого-нибудь не ужалила змея, что жила в дупле. Но ведь дупло было всегда и змея жила в нем испокон веку, еще когда они с Беркели были мальчишками. И никого не жалила. Но нет, срубили, посадили молодые деревца. А те не принялись. На следующий год посадили вновь, и опять деревца погибли.

Сары-ага вспомнил, как в прошлом году соседи, поставив новую кибитку, старую сломали и подожгли. Пламя вмиг охватило камыш, сухое дерево — огонь поднимался до самого неба. А люди стояли рядом, переговаривались, шутили. И он был вместе со всеми, смотрел на громадный костер. Лишь когда в реве пламени послышался ему протяжный жалобный крик, похожий на стон смертельно раненого зайца, он ушел, не было сил смотреть больше.

Почему он сейчас вспоминает обо всем этом? Ему бы думать о

себе, о своей душе, о чем-нибудь приятном. Зачем он стал думать о Беркели, о старой мечети? Беркели тогда сказал, что просто не видит другого выхода, ведь где-то же надо хранить общее имущество, не у себя же во дворе он его сложит. Тогда Сары-сейис согласился с ним, как соглашался с тем, что говорил Беркели всегда. «Зачем?! Зачем ему привиделся Беркели?»

Страшная догадка поразила Сары-ага: может Беркели зовет его к себе. Ему стало страшно. Вновь жаркий огонь опалил грудь, сердце. Смерть... Вот она как приходит! Пот струился по лицу. Превозмогая боль, Сары-ага открыл веки, чтобы в последний раз взглянуть на тутовник, но увидел только сотни маленьких солнц, мерцавших во мраке. Ужас охватил его.

— Нет, Беркели, нет! — попытался крикнуть он, но получился лишь слабый стон.

— Что с вами, отец? Сон нехороший? — Над ним склонилась Гюльрух-эдже, рядом с ней стояла Нязик с чайником в руке. — Невестка чай вам принесла.

— Не хочу я чая, Гюльрух. — Он перевернулся на спину, подождал, чтоб биение сердца утихло. — Дай мне руку, — попросил он жену, когда Нязик отошла. — Могут люди прийти. Нехорошо, что я здесь лежу...

В кибитке было жарко. Когда Мульки вошел туда, лицо ему опалило огнем, точно он склонился над тамдыром.

— Мама, зачем вы топите? Чай можно и во дворе подогреть.

— Это не для чая, сынок... — сказала Гюльрух-эдже. — Очаг должен гореть всегда. Если над кибиткой не будет виться дымок, как же путнику догадаться, что его здесь ждут.

Сквозь решетку терима Сары-сейис наблюдал за играющими во дворе детьми. Ребячьи забавы были для него словно лекарство. У детей все так же, как у старших, только честно, бесхитростно. Они еще не научились скрывать свои чувства: когда смешно — смеются, когда больно — плачут. А уж причина для этого у них всегда найдется.

Упал, разревелся, недавно научившийся ходить Имам — младший сын Нарлы. Соег подхватил братишку, стал его успокаивать, пока мать не услышала плач.

— Не плачь, Имам-джан, а то плешивым будешь. Смотри, уже не

больно, — Соег подул на сбитую коленку, но Имам не перестал плакать. — Замолчи, слышишь! — прикрикнул Соег. — Дедушка болеет, а ты реवेशь.

Он поставил малыша на ноги, взяв за руку, потащил к дому. Вскоре они скрылись из виду. Сары-ага почувствовал, что по щеке у него катится слеза. Сколько раз падал всего неделю назад, когда учился ходить, Имам и ни разу не заплакал (по крайней мере Сары-ага такого не помнил). Свалится, посидит на земле немного и снова встает, как ни в чем не бывало. Благодаря такой настойчивости он и научился ходить. А вот теперь, падая, плачет. Разве не так же больно ушибался он прежде?

Сары-ага вспомнил о Мулькамане. Перевернулся на другой бок, приподнялся на локте. Мулькаман стоял у двери, переминаясь с ноги на ногу.

— Подойди. Есть новости? — спросил Сары-ага.

— Это мужской разговор.

Сары-ага посмотрел на жену. Гюльрух-эдже взяла мешочек с солью, миску и вышла из кибитки. Вроде по своим делам. Когда Сары-сейис остался наедине с сыном, ему показалось, что кибитка стала теснее, ниже, словно сжалась, зная о чем будет предстоящий разговор.

На ветки тутовника словно ожерелья нанизали. Год выдался на редкость урожайным. Вызрев, набрав сладости, ягоды сами падали вниз, к ногам. Но детям желанными казались другие, те, что были на ветвях. Только самые маленькие собирали ягоды с земли. Старшие были уверены, что оставшиеся на ветвях и слаще и крупнее. Хотя на самом деле было все наоборот. Они сбивали урожай с веток длинным шестом, кидали камни, а те ягоды, что были на земле безжалостно топтали.

Первые три-четыре дня Гюльрух-эдже собирала опавшие ягоды, сушила их на зиму. Дважды она даже испекла хлеб, добавив в тесто истолченных высушенных ягод, чтоб побаловать внуков. Но сейчас, летом, лепешки с тутовником не казались детям желанным лакомством, как зимой. Они уже объелись тутошками, смотреть на них не хотели.

Нязик приходилось то и дело подметать двор. Сначала она давала эти ягоды скотине, потом стала просто высыпать в канаву возле забора. Однажды это увидел Нарлы, расшумелся:

— Разве можно добро высыпать?! Дайте корове или высушите. Будет зимой приправа. Что легко достается — не ценится!

— Будет тебе! — вступилась за невестку Гюльрух-эдже. — Сколько можно сушить, уже складывать некуда. Говорила отцу: «Хватит одной плодоносной ветви!», так нет — «Пусть внуки полакомятся!» Подметешь, не успеешь оглянуться — словно и не подметала. Жалко невестку. Спилит бы ты пару ветвей, что ли... Из кибитки послышалось покашливание Сары-ага.

Разговор тотчас прекратился.

* * *

Маленький Еламан чувствовал себя обманутым. Он понимал, что в его жизни что-то переменялось, но почему — этого никак не мог взять в толк. Сразу так много необычных событий произошло, что он никак не мог соединить их воедино, чтобы понять главную причину случившихся перемен. Началось с шутки. Нет, началось с того, что ему снова захотелось покататься на Шункаре. Он вспомнил об этом, когда пили чай, вспомнил и условие, поставленное отцом. Тогда он сказал так, как учил отец. Тот рассмеялся, а мама заплакала. Тогда Еламан снова сказал, чтобы мама уходила домой, хотя не понимал куда ей идти, если они и так дома. Мама разозлилась, больно ударила его по губам. Плача, он бросился к отцу. Тот оттолкнул его. Еламан заплакал еще горше от того, что папа его предал. Но отец, видно, вспомнил о своем обещании и побил маму, велел ей уходить к отцу. Мама забрала его, Еламана, и сестричек, и они пошли к дедушке, через все село, ночью. Дедушка, когда они пришли, не обрадовался как бывало обычно. «Ложитесь спать!» — приказал он и вышел из кибитки. «Не плачь! — говорила бабушка, убаюкивая маленькую Абадан. — Узнают злые духи о нашей горе — не дадут спать ночью!»

Духов не удалось обмануть. Еламан долго лежал без сна. Ему ни разу прежде не приходилось ночевать у дедушки, все здесь было не так, как дома. Только на рассвете ему удалось заснуть. Но вскоре пришел дедушка и велел маме будить детей.

— Сейчас пойдем, — сказал он.

Когда мама подошла к нему, Еламан притворился спящим, а, может, он и в самом деле спал и слышал этот разговор сквозь сон.

— Свекор болеет, не надо его огорчать, — сказала мама.

Дедушка что-то проворчал и ушел.

Почему взрослые так долго обижаются? Мама ударила его больно, но он ее уже простил. Простил почти сразу, еще когда шли к дедушке. А отец, и дедушка, и дедушка Сары — они почему-то не хотят простить маму.

Еламан пытался ее защитить. Когда дедушка чинил сбрую, он подошел к нему и сказал, что мама совсем не злая и ударила его не очень больно, тетушка Нязик бьет Соега чуть ли не каждый день и то ничего...

— Ступай, не твоего ума дело, — ответил дедушка.

Теперь каждое утро Еламан долго смотрел на дорогу, ждал бабушку Гюльрух. Он слышал, как она говорила маме, провожая их к дедушке: «Не перечь сейчас этому сумасшедшему. Пройдет пару дней, я сама приду за вами!»

Но прошло уже три дня, а бабушка все не приходила. Когда она придет за ними, он не простит ее сразу. «Я не буду светом твоих очей!» — вот как он скажет ей. Еламан сидел в пыли, смотрел на дорогу и чуть не плакал. С трудом удерживал слезы, чтобы мальчишки не стали смеяться. На этих мальчишек он тоже был в обиде. Они ни разу не позвали его играть с собой. Сами веселились, а его словно не замечали. Он был для них чужой, и они были для него чужими. Однажды ему захотелось рассказать им, как он ездил верхом на Шункаре. Он подошел поближе, но в последний миг передумал, испугался, что ему не поверят.

С каждым днем маленького Еламана все глубже засасывала трясина обид, все больше становилось людей, которым он должен отомстить за унижение. Мама, когда он сказал ей, что соскучился, что хочет домой, ответила, что теперь их дом здесь.

— Почему? — удивился он.

— Так хочет твой отец.

Еламан отошел, надув губы. Бахар чувствовала, что Еламан ей не

поверил. Но как ему объяснить, что случилось? С девочками проще... Как будто она не понимает, что Еламану здесь не по душе, что он тоскует.

— Подойди! — позвала она сына.

Еламан не сдвинулся с места. Смотрел на нее исподлобья, зло, как волчонок. Так порою смотрел на нее Мулькаман. Обида, ненависть к мужу, которую она все эти дни таила в себе, неожиданно вырвалась, захлестнула ее рассудок. В этот миг лишь одно знала она: Еламан — его сын! Сын человека, что оскорбил ее, растоптал душу. Она не понимала, что делает — подскочила к сыну, вцепившись ему в плечи, стала трясти:

— Чтоб ты провалился!... Наш дом здесь, здесь! Сколько можно тебе говорить! Разве я виновата, что за нами никто не приходит...

Вспышка ярости прошла. Обессиленная она опустилась на песок, зарыдала, прижалась к груди сына. «Тук... тук... тук...» — глухо стучало его сердечко, билось часто, трепыхалось, как птичка, пойманная в силки. Ей хотелось, чтобы Еламан сейчас зарыдал вместе с ней, но он стоял как неживой. Бахар ужаснулась. С мольбой, как побитая собака, она подняла глаза на сына. Глаза Еламана были сухи. Но что-то все-таки шевельнулось в нем, он осторожно, кончиками пальцев, почти неосознано прикоснулся к ее мокрой от слез щеке. Тут же отдернул руку и, не сказав ни слова, даже ни разу не обернувшись, ушел со двора.

Он отправился к бархану, туда, где играли мальчишки. Сел у подножья в надежде, что его все-таки заметят и позовут. Если так случится, он простит их! Он расскажет им о Шункаре. Странно, но к Шункару у Еламана обиды не было, хотя все случилось из-за него... Вот бы сесть на него сейчас, ускакать далеко-далеко к горам!

— Шункар! Шункар!... Смотрите! — раздался чей-то восторженный крик. Мальчишки, обсыпая друг друга песком, карабкались вверх по склону. Еламан бросился вслед за ними. Но когда он добрался до гребня, Шункар почти скрылся из виду — только облачко пыли двигалось по дальней дороге.

Забыв обо всем на свете, он скатился вниз по крутому склону, побежал домой.

— Мама, я Шункара видел! — кричал он, спеша поделиться с кем-нибудь своей радостью.

Бахар, погруженная в свои мысли, не сразу поняла, что случилось. Она на миг оторвала взгляд от шитья — Еламан был уже за воротами.

Он бежал не разбирая дороги, словно какая-то сила толкала его в спину. Остановился, когда село осталось позади. Дорога была пустынна. Он присел на обочине, чтоб перевести дыхание. Первый глоток опалил горло, легкие. Вдалеке слышался перестук копыт. Сначала он хотел побежать навстречу, но тут же одумался. Таясь, сам не зная от кого, спрятался в поросли росшего у дороги тутовника. Пока он устроился в своем укрытии, стук копыт прекратился. Стало обидно до слез: неужели отец поехал другой дорогой, свернул куда-нибудь. Может, он сделал это нарочно, чтобы Еламан не увидел Шункара? Терпение его было уже на исходе, когда из-за поворота появился Шункар. Конь шел медленным шагом, четко впечатывая копыта в дорожную пыль; всадник дремал в седле, подставив лицо лучам заходящего солнца. Напротив тутовника Шункар замедлил шаг, почуяв мальчика, подал голос. Мульки очнулся, посмотрел по сторонам, тронул жеребца стремями. Отец проехал совсем рядом. Еламану казалось, что он слышит его дыхание. Ему хотелось окликнуть отца, выбежать к нему, но какая-то сила его сковала. Ноги затекли, стали, как чужие, язык не слушался. Единственное, что ему оставалось: смотреть вслед всаднику сквозь узкий просвет в листве. Шункар уже скрылся из виду, когда оцепенение прошло. Еламан рванулся, хотел закричать, но чья-то рука плотно зажала рот. Еламан чуть не умер от испуга. Оглянулся. Прижавшись лицом к стволу тутовника, рядом с ним стояла мама.

— Мама!? — испуганно выдохнул Еламан.

— Ты что здесь делаешь? — Голос мамы звучал не строго.

— Я?... Ничего не делаю... Просто... — Он хотел найти себе оправдание, но, как назло, ничего не мог выдумать. Страх мешал ему. Зачем он сразу не побежал сюда? Тогда бы мама его не выследила.

— Что, просто?

— Просто... — Еламан всхлипнул и вдруг разрыдался. — Я

Шункара хотел увидеть. Только Шункара. Отец все равно спал. Прости меня, мамочка! Я никогда туда не пойду. Побей меня, побей — я никому не скажу! Мне не будет больно!

— Ну что ты, милый! — Бахар прижала к себе сына. Сколько она плакала в эти дни! Казалось, уже выплакала все. Но только теперь слезы принесли ей облегчение. — Не бойся, душа моя, я никому не дам тебя в обиду. Разве здесь тебе плохо?... И днем, и ночью буду работать. чтобы ты ни в чем не знал отказа. Радость моя!...

Она не хотела, чтобы Еламан видел, как она рыдает. Все эти дни, плача, она пыталась пробудить в сердце сына жалость. Вернуть его себе. Она понимала, что мучит сына, но ничего не могла с собой поделать. Еламан был ниточкой, связывавшей ее с тем домом. Всякий раз, глядя на него, она, сама того не желая, мысленно переносилась на другой конец села, в дом Сары-сейиса. Мало хорошего она там видела; свекровь слишком любила младшего сына, ревновала Мулькамана и всякий раз давала почувствовать это ей, своей невестке, младшей невестке. Когда Гюльрух-эдже сказала, что придет за ними через несколько дней, Бахар, хоть и хотела поверить, не поверила. И все-таки ждала свекровь; сидя в кибитке, прислушивалась, кто идет по дороге... По утрам стала, как Нязик, подметать двор, веря, что это принесет ей счастье... Она не могла понять почему, но чужой дом был желанней, чем тот, в котором она родилась и выросла! Теперь она об этом не думала.

Кибитка Нарлы стояла в стороне от шах-тута. Только вечерами, перед заходом солнца, на нее ложилась легкая узорчатая тень. Два года назад Сары-ага перестал подрезать ветви с восточной стороны. Они вытянулись, и старик радовался, видя, что тень стала гуще. Но весной буря сломала эти ветки...

* * *

Powestler